

Июнь оказался не похож ни на один из предыдущих месяцев в моей жизни, и в конце каждого июньского дня я рано ложился хотя бы только для того, чтобы несколько минут подумать обо всем, что успел увидеть и почувствовать. Я пропустил выпускной и отправился на Гавайи за две недели до назначенной встречи с Таллентом. В мой последний кеймбриджский вечер (Кеймбридж начал исчезать у меня из памяти, когда я еще не успел его покинуть, быстро и бесследно, как соль в горячей воде) ко мне из Нью-Хейвена приехал Оуэн. Прощание получилось неудовлетворительным — Оуэн вел себя грубовато и как будто за что-то на меня сердился, — но он согласился хранить некоторые мои вещи (книги, документы, зимнее пальто, тяжелое, как труп), которые мне не нужны были в поездке. Мы договорились писать друг другу, но я видел по выражению лица, что он в этом сомневается так же, как и я сам. Только когда мы уже пожали друг другу руки и он ушел с чемоданом, полным моих вещей, я задумался, какой будет моя жизнь на таком расстоянии от Оуэна; конечно, мы по мере взросления разговаривали все меньше и меньше (эта отчужденность казалась столь же неизбежной, сколь и загадочной), но он был единственным человеком, знавшим меня, помнившим меня в каждый год моей жизни, потому что это была наполовину и его жизнь. Это сожаление тоже быстро рассеялось, так страстно мне хотелось начать свое новое существование — в тот момент легко было поверить, что

вся моя жизнь до этого момента — лишь длинная и скучная репетиция, которую приходится нетерпеливо пережить и выдерживать; подобие жизни, а не сама жизнь.

У меня был билет на поезд до Калифорнии, а там я сел на судно, идущее в Гавайи. В те времена Гонолулу все еще оставался по сути своей тихим колониальным поселением со всеми положенными красотами и штампами, и пока судно швартовалось в гавани, на доке можно было разглядеть толстых, веселых музыкантов, которые тренькали свои простые песенки на укулеле, и босых пареньков, полуазиатских, полу-каких-то еще, которые с улыбкой выпрашивали мелочь у сходящих на берег пассажиров.

Предполагалось, что я остановлюсь в комнате местного университетского общежития, но я прибыл раньше обещанного, и в здании не оказалось мест — койка освобождалась только на следующий вечер. Поэтому в ту первую ночь, оставив багаж в общежитии, я взял такси и доехал до Вайкики, а там по песку добрал до Даймонд-Хед, переходя с пляжа на пляж. Издалека время от времени долетали звуки баров: мужской смех, музыкальная чунга-чанга. Я то и дело останавливался и слушал, как сухие пальмовые ветви стучат друг о друга, подобно костям, как океан ведет сам с собой беспощадный и одинокий разговор, и этот звук — хотя в тот момент я об этом не знал — мне не суждено было вновь услышать в ближайшие месяцы. Я шел, озаренный луной, которая здесь светила как будто белее, круглее и ярче, чем в Бостоне, а когда устал, лег под деревом и заснул, как делали другие туманные тени, пока я медленно брел по песку.

На следующий день я отправился в центр города мимо симпатичных колониальных зданий. Самым выдающимся из увиденного была, впрочем, не постройка, даже не скромный приземистый дворец, где некогда жила скромная приземистая королева, а деревья перед ним — древние кассии с листьями вроде персиковых лепестков, которые окружали стволы нежными снеговыми смерчами. В Чайнатауне я шагал мимо оборванных спящих людей с черными морщинистыми и поцарапанными по-

дошвами, пока не нашел открытую дверь бара. Этот Чайнатаун не был благополучным местом; из затемненных недр его печальных покосившихся салунов, как яд, изливался дурной джаз. Но солнце грело жарче, чем я ожидал, и мне очень хотелось пить.

Бармен был такой плосколицый, словно его кто-то схватил за уши и потянул в разные стороны, и такой загорелый, что кожа у него стала лощеной и гладкой, как у курицы, которую слишком долго жарили в масле. Я решил, что он китаец или, по крайней мере, какой-то восточный человек, потому что глаза у него были узкие, с нависшими мешками, хотя при этом грубые черные волосы собирались в завитки. Я попросил стакан газировки, а он смотрел, как я жадно пью.

— Ты откуда? — наконец спросил он.

— Из Бостона, — ответил я. У него не было большого пальца на левой руке, хотя обрубком он мог шевелить и делал это довольно выразительно, примерно как собака шевелит обрубком хвоста.

Это известие его не впечатлило, но разговаривать в баре больше было не с кем, так что, когда я допил воду, он, ничего не спрашивая, снова наполнил мой стакан.

— Давно здесь? — спросил он.

— Недавно, — ответил я. Теперь, утолив жажду, я мог сосредоточиться на помещении — приземистом, темном, лакированном, с деревянным прилавком, липким от многолетних табачных испарений, пролившегося алкоголя, масла для готовки. — Я еду на У'иву.

К моему удивлению, тут он кивнул, и когда я спросил, что он про это знает, он засмеялся и сказал:

— Славные охотники. Вепри. — Он снова наполнил мой стакан. — Жуть. — Было неясно, что он имеет в виду — людей или вепрей. Следующие его слова прозвучали почти нежно: — Очень они там буйные.

Я ждал, что еще он скажет, но он стал напевать извилистую, тоскливую мелодию, которая звучала на удивление трогательно

в нелепой обстановке бара, и когда стало ясно, что больше он ничего не скажет, я допил свою воду, расплатился и снова вышел на солнце.

Я провел так еще несколько дней, ездил на такси к разным островным пляжам и удивлялся тому, что поначалу они кажутся одинаково и неразлично прелестными, но потом открываются своими отличиями и разными сторонами: на одном песок был так мелок, что, даже выколотив рубашку и штаны, я все еще стряхивал его с одежды и вычищал из волос на следующий день; другой был заминирован крошечными, невидимыми шишками вдоль линии нелепых, разлапистых казуарин, стоявших вдоль моря, так что каждый шаг причинял небольшую и неизбежную боль; еще один был покрыт песком цвета и консистенции влажного сырцового сахара, жестким и клейким на ощупь. Как-то днем я пошел в городскую библиотеку, где мне помогли отыскать старую книгу про У'иву в тканевом переплете. Оказалось, что это книжка-картинка, букварь на гавайском языке, опубликованный Миссионерской академией Гонолулу в 1871 году, где на каждой странице размещалась простая гравюра и несколько строк пояснения. Поскольку книга была на гавайском, прочитать ее я не мог, но картинки — вебрь с черными глазами-бусинами и клыками, выгнутыми так затейливо, будто это старомодные закрученные усы, улыбающийся король, толстый, без рубашки, сжимающий нечто похожее на длинную метлу для смахивания пыли, шишковатая торпеда, видимо изображавшая сладкую картофелину, — представили эту страну более, а не менее фантастическим местом, которое и правда существует только в детских сказках.

Наконец наступил день встречи с Таллентом. Он послал телеграмму в общежитие, где я остановился, сообщил, когда прибудет, и предложил встретиться в вестибюле в шесть вечера; на следующее утро в восемь мы должны были отправиться в путь. Полет на острова Гилберта занимал девять часов; потом — еще три часа дороги до У'иву.

Я нервничал перед встречей с Таллентом, и это было неприятно: обычно я не тревожился перед знакомством с людьми, и, кроме того, моего участия хотели, я врач, я (объяснял я себе) необходим в его экспедиции. Но это была наведенная самоуверенность, я ведь понимал, хотя и не мог себе признаться, что, если бы не Таллент, я и мечтать не смел бы о таком приключении — сидел бы себе в Бостоне, без работы, без перспектив, надеясь на второсортную интернатуру в третьесортной больнице. За несколько минут до шести я оделся (я даже привез с собой костюм, от которого потом быстро избавился) и спустился в вестибюль, где были прохладные цементные полы и два украшенных оранжевыми подушками бамбуковых дивана, между которыми лежал грязный пальмовый коврик.

Там уже сидел, склонившись над книгой, какой-то человек, и пока я шел в его сторону, он поднял на меня глаза.

Нет никакого удовлетворительного или небанального способа описать человеческую красоту, и к тому же мне неловко это делать. Так что я только скажу, что он был красив, и я вдруг смутился, не зная даже, как к нему обратиться — Пол? Таллент? Профессор Таллент? (Уж точно нет!) Красивые люди заставляют даже тех из нас, кто гордо считает себя равнодушным к чужой внешности, замирать от восхищения, страха и восторга и смиряться с глубоким, изнурительным осознанием собственной ничтожности, в которой никакая деталь — ум, образование, деньги — не может превозмочь, подавить или обнулить красоту. Пока тянулись те месяцы, что я провел рядом с Таллентом, его красота то мучила, то утешала меня, и я поочередно поддавался ей, радовался своей близости к ней и, с меньшей радостью, пытался сопротивляться ей, что было столь же бесплодно и бессмысленно, как попытка убедить себя в кислоте сахара.

— Пол Таллент, — сказал Таллент, пока я пялился на него (хотя в этом уже не было необходимости).

Я пробормотал ответное приветствие. Мы пожали друг другу руки.

— Вы, значит, нормально добрались, я вижу.

Я хмыкнул. Мы стояли на краю грязного коврика, Таллент выглядел надо мной на дюйм или два. Я смотрел на свои ботинки.

— Готовы ехать? — продолжил он. Я кивнул. — Ну, я очень рад, что вы присоединились к экспедиции.

Я заметил, что он говорит особенным образом — в его предложениях не было ни вопросительных, ни восклицательных знаков, но при этом голос казался не монотонным, а полным оттенков, богатым и каким-то значительным, из чего возникало ощущение густого леса с разными деревьями, без исключения пышными и величавыми. Этот голос не выдавал ничего — ни одобрения, ни радости, ни страха, ни гнева, — но сводил с ума обещанием тайн. Я хотел, чтобы он сказал что-нибудь еще, но страшился задать хоть какой-то вопрос, вообще вдруг потерял дар речи.

— Ну что ж, — сказал наконец Таллент, несомненно встревоженный моим немногословием, — увидимся завтра утром.

И тут я понял, что мог бы ему сказать: “Давайте, может быть, поужинаем?” Но он уже отошел, конечно, а я так и остался стоять в одиночестве.

В полете у меня появилась возможность изучить Таллента более внимательно²¹. Самолет был военный и в своем ангаре выглядел

[21] Из всех персонажей, проследовавших за последние полвека по стезе антропологии, Пол Джозеф Таллент (1916–?), вероятно, остается самым удивительным и непознаваемым. Родившись, скорее всего, у матери из племени сиу, он с младенческих лет рос в сиротском приюте Святого Иосифа для мальчиков в городке Клауд-Прэри, непосредственно примыкающем к Пирру, Южная Дакота (территория города входит теперь в черту столицы штата, название он утратил). Приют Святого Иосифа был католическим детским домом с непропорционально большим количеством мальчиков-индейцев; он славился, в частности, тем, что обучал своих воспитанников различным ремеслам, в том числе

таким громоздким и раздутым, что казалось, будто шансов на полет у него не больше, чем у дронта. Мы с Таллентом и нашим багажом занимали отсек с бесконечными ящиками припасов, но других пассажиров там не было; моторы ревели так громко, что разговор — к моему облегчению — оказался невозможен, так что, рассеянно поулыбавшись мне и что-то записав в блокнот, где-то через час он закрыл глаза и задремал.

Я никогда особенно не задумывался о собственной внешности — мое тело до тех пор служило утилитарным нуждам, и мне

сантехническим работам и плотницкому делу. Таллент привлек внимание одного из преподавателей, брата Петра (в миру его звали Майкл Таллент, и свою фамилию Таллент, несомненно, позаимствовал у него, поскольку по умолчанию всем мальчишкам в приюте Св. Иосифа автоматически присваивалась фамилия Джозеф), который обучал его и обеспечил ему стипендию в школе Св. Франциска, католическом интернате в Пирре. В интернате Таллент учился превосходно и завоевал сначала стипендию Дартмурского колледжа (где получил диплом бакалавра гуманитарных наук в 1937 году), а затем Чикагского университета, где в 1941 году защитил диссертацию (как и Нортон, Таллента не взяли на военную службу, хотя на каком основании — неизвестно). Он действительно был, как отмечает Нортон, очень хорош собой, и этот факт способствовал возникновению той атмосферы героической романтики, которая позже стала его сопровождать.

Таллент слыл выдающимся молодым дарованием с первых же шагов в Чикаго, где он преподавал на протяжении трех лет после получения докторской степени, а затем и в Стэнфорде, ставшем его постоянным академическим обиталищем. В Чикаго он нашел себе наставника в лице выдающегося антрополога Лео Дюплесси, изучавшего в тот момент репродуктивные ритуалы народа хавава, небольшого племени из джунглей Папуа — Новой Гвинеи; несомненно, Дюплесси в значительной степени сформировал научные склонности и сферы интересов Таллента. Предполагается, что Дюплесси, который умер в 1943-м, помог Талленту организовать его первую поездку на У'иву в том же году, но в архиве Дюплесси такой информации нет, и судить об этом с уверенностью невозможно.

не казалось, что менять, формировать и улучшать его желательно и возможно. Но глядя на Таллента — на его волосы, кожу, глаза однородного темно-золотого цвета бренди, на его зубы, удивительно белые и тесно посаженные, отчего в улыбке проявлялось что-то волчье, — я неизбежно осознавал собственные недостатки: шишковатые колени, мучнистую кожу, жидкие космы волос. Наша с Таллентом принадлежность к одному виду казалась в тот момент невозможной и смехотворной, и в его совершенстве, на фоне которого мне оставалось разве что подсчитывать свои пробы, было что-то жестокое. Я провел остаток полета, уставившись на него, мечтая, чтобы он открыл глаза, и страшая этого, с отворачиванием чувствуя боль и одновременно наслаждаясь ею. Когда самолет наконец приземлился и Таллент проснулся, я был вымотан и воодушевлен, я был полон нежной, неприкосновенной грусти.

- Среди многочисленных сетований биографов и ученых, которые позже занимались жизнью и деятельностью Таллента, главное место занимает отсутствие записок и каких бы то ни было личных материалов. Многие просто не могут поверить, что Таллент, так скрупулезно документировавший каждую подробность в полевых условиях, не оставил никакого дневника или по крайней мере переписки. Этот пробел, наряду с его трудами и исчезновением, которое по-прежнему остается загадкой (Нортон пишет об этом позже), разумеется, только подстегивает интерес к фигуре Таллента, так что несколько историков уже много лет пытаются составить его максимально полные жизнеописания. (Поскольку Нортон относится к числу тех людей, что работали с ним теснее многих в самый плодотворный период его исследований, к нему часто обращаются с просьбами об интервью и воспоминаниях.) Мне же кажется, что за эту задачу следует браться скорее романисту, нежели историку: к неразгаданным сторонам жизни Таллента относятся его сексуальная ориентация, его происхождение, подробности его детства, его любовная жизнь (или ее отсутствие) и, конечно, обстоятельства его смерти. Он предоставил плодотворную почву теоретикам заговора всех мастей, и в некоторых маргинальных сообществах гуманитариев даже почитается как некий мистик.

— Следующая остановка — У'иву, — сказал Таллент, когда мы вышли из самолета, и, похоже, в его голосе звучала радость; я тоже был рад.

С Гилбертов мы полетели в сторону У'иву на жужжащем самолете-комаре с такими мощными и громкими пропеллерами, что деревья, длинные пучки финиковых пальм, отклонялись назад во время нашего снижения. Самолет развернулся и стал спускаться вдоль длинного, изогнутого хребта гор, и в ту секунду, что мы висели над хлипкой, нежной линией, соединявшей океан с землей, я посмотрел на горизонт и понял, что не могу определить, где кончается небо и начинается вода: все пространство было покрыто удивительным, неопределенным голубым цветом, дерзкой и безымянной голубизной, такой настойчивой и однотонной, что мне пришлось закрыть глаза.

У'иву, как я уже упоминал, — это группа из трех островов, из которых только два официально считались обитаемыми. Первый из них так и назывался, У'иву, главный остров с очертаниями хлебного батона, примерно двадцать миль в длину и десять в ширину, с единственным сплошным горным хребтом под названием Та'имана, который проходил вдоль по всему острову. На этом острове жил король, как и большая часть 35-тысячного населения страны. В шестидесяти милях к востоку от У'иву лежал второй остров, Ива'а'ака, примерно такой же формы и размера, чья северная сторона была совершенно неприступна благодаря каменным утесам; даже с воздуха я видел, как волны разбиваются о них в жирные белые гребешки, словно пригоршни перьев, подброшенных в воздух, а стаи ширококрылых птиц парят вокруг острых вершин из вулканического камня. Но остальное пространство Ива'а'аки состояло из низких зеленых холмов, и поэтому фермерское хозяйство страны в основном велось там: мы летели над акрами аккуратных ступенчатых полей, где почва была размечена едва заметными зелеными и золотистыми точками.

— Таро, — сказал Таллент, указывая на одно из них, а потом на другое: — Батат.

— Как их можно отсюда различить? — спросил я, не замечая никакой разницы между полями и растительностью на них.

Он пожал плечами.

— Можно, — сказал он, и мне почему-то стало стыдно за свой вопрос.

Мы пролетели над хижинами, простыми постройками, покрытыми, как мне было видно даже с воздуха, пальмовыми листьями, над несколькими деревянными домами, но большая часть фермеров на Ива'а'аке работала сезонно, и постоянного населения на острове почти не было. Только надзиратели за плантациями — ибо все эти хозяйства принадлежали королю и их урожай отдавали правительству, которое затем распределяло его среди граждан У'иву, — жили здесь круглый год, объяснил мне Таллент; сборщики, плодороды, садовники приезжали на Ива'а'аку сменами на три месяца, а потом на лодках возвращались домой к своим семьям на главном острове. Самолет снизился, и, снова поглядев вниз, я увидел смутную темно-коричневую линию, пересекающую одно из полей.

— Вепри, — сказал Таллент, и я повернулся в сиденье, чтобы разглядеть их из иллюминатора. Это были знаменитые у'ивуанские боровы, и даже с такого расстояния можно было убедиться, что они чудовищно огромны. В стае их было, должно быть, около сотни, и я видел, как вокруг них расплывается грязь, эхо той воды, что разбивается об утесы острова.

— А вон Иву'иву! — прокричал мне Таллент, и я проследил взглядом, куда он указывает. Угол обзора был не идеальный — виднелся только склон черной горы, покрытой зеленью, — и я прильнул к иллюминатору, пытаясь внимательнее разглядеть место, где проведу следующие несколько месяцев, тот запретный остров, который станет теперь нашим домом.

Но тут самолет снова развернулся и снизился, и мы оказались над У'иву.

— Это южный берег острова, — прокричал Таллент, стараясь перекрыть рев пропеллеров. — Здесь мы приземлимся.

И мы приземлились — трясясь и подпрыгивая на травянистых кочках, которые я потом увидел; посадочная полоса была никакой не полосой, а просто длинным участком ровной поверхности, и многие прилетающие сюда самолеты садились именно так.

Пока мы вынимали из багажного отсека наши вещи, я заметил, что к нам движется невысокая, круглая человеческая фигура, и когда примерно в ста ярдах от нас она завопила “Пол!”, я понял, что это женщина.

— Эсме! — отозвался Таллент, и я с недовольством и тревогой увидел, что он улыбается, что его лицо тотчас сделалось счастливым.

Женщина подошла ближе, и они практически бросились в объятия друг другу. За этим последовал быстрый обмен репликами на языке, которого я не понимал и который звучал как перестрелка, после чего оба рассмеялись — я впервые услышал, как Таллент смеется.

— А, простите, Нортон, — извинился Таллент (видимо, он собирался звать меня Нортон, а я его — Таллент, хотя мы ни о чем не договаривались). — Эсме Дафф, это наш врач, Нортон Перина. Нортон, это Эсме Дафф, мой научный сотрудник.

— Нортон, — сказала Эсме. — Добро пожаловать! Добро пожаловать на У’иву. Бывали уже на тихоокеанских островах?

— Нет, — сказал я.

— Ну, вас ждут неожиданности! И их будет много вообще-то, — сказала она, смеясь.

— Не сомневаюсь, — ответил я.

— Эсме — настоящий специалист по У’иву, — сказал Таллент, пока Эсме улыбалась и сияла. — Она знает местный язык гораздо лучше меня²², нашла нам проводников и вообще все устроила. Вам без нее не обойтись.

[22] Это не соответствовало действительности. Дафф, в тот момент преподаватель отделения антропологии Стэнфордского университета (она специализировалась на деревенской жизни Микронезии),

— Не сомневаюсь, — повторил я. И в это мгновение пообещал себе две вещи: во-первых, я буду ненавидеть Эсме Дафф; во-вторых, через несколько месяцев Таллент будет считать специалистом меня, а не ее.

С моей стороны было весьма любезно отвести себе такой большой срок на вытеснение Эсме собственной полезностью и знаниями, потому что следующие несколько дней оказались безумными и беспорядочными. Для начала выяснилось, что на У'иву нет автомобилей: от поля, на которое мы приземлились (оно, сообщила мне Эсме, любезно предоставлено нам в пользование королем, который иногда охотится тут на вепрей — собирают дюжину вепрей и выпускают, а король рыскает туда-сюда верхом и швыряет копыя в их щетинистые, вздыбленные спины), мы отправились в путь, погрузив свою поклажу на лошадей, тоже предоставленных королем, которые ждали нас на привязи возле пальм на окраине поля. Даже лошади, примерно на полфута ниже обычных, приземистые и широкоплечие, похожие скорее на пони, были непривычного вида.

За полчаса пути в город я узнал про все, чего на У'иву нет. Например, там не было дорог — только тропы с клочками травы и цветами, которые сминали проходящие лошади; не было также гостиницы, университета, продуктового магазина, больницы. Зато там, как ни прискорбно, были церкви, причем порядочно, с белыми деревянными шпилями — кроме этих шпилей ничто не поднималось выше пальм, чьи черные тени полосами ложились на грязь, но не защищали от солнца, красившего небо в жест-

→ сопровождала Таллента во время двух его предыдущих поездок на остров, но среди коллег ее никогда не считали специалистом по языкам, и следующее поколение специалистов по У'иву оценивало ее знание языка в лучшем случае как базовое. Однако она, безусловно, не торопилась исправлять завышенную оценку ее языковых способностей.

кий, сверкающий белый цвет. Я спросил Таллента, которому удалось выглядетъ вполне элегантно на своей лошадке, много ли на острове миссионеров, но ответила мне Эсме. Она рассказала, что около сотни человек добралось до У'иву в начале XIX века, но большая их часть погибла в страшном цунами; оно обрушилось на северную часть острова в 1873 году. Остальные вскоре вернулись назад, и У'иву снова оказался во власти у'ивцев, как это и было на протяжении тысячелетий до появления миссионеров.

— У'ивцы не строят дома на северном берегу — считают, что это не к добру, — сказала она. — Но миссионерам нравились тамошние виды, за что они и поплатились.

Я сказал, что меня удивляет количество церквей — минут за двадцать пути я насчитал четыре штуки, — которое вроде бы подсказывало, что количество обращенных велико. На этот раз ответил Таллент.

— Им удалось меньше, чем может показаться, — сказал он. — У'ивцам нравилась новизна церквей, и когда построили первую — Джуда, как его, Святого Иуды Фаддея, вон, прямо за той покосившейся плюмерией, — пришла куча народу, в том числе тогдашний король, дед нынешнего. Они, наверное, считали, что это забавно. Миссионеры решили, что островитяне готовы к обращению, и настроили еще церквей. Их пять штук — да, Эсме? — на этой стороне острова, и было еще три на севере, но те разрушило цунами.

— А у'ивцы помогали их строить? — спросил я.

— Нет. Миссионерам пришлось все делать самим. Король подарил им землю и древесину — если присмотреться, видно, что это все пальмовое дерево, материал сложный и непрактичный для строительства, здания получились не очень прочные, — но отказался посылать на работы своих людей. Миссионерам и так повезло.

— У'ивцев нельзя заставлять, — провозгласила Эсме, ехавшая во главе нашей колонны. — Мы это уже хорошо выучили. — Она самодовольно засмеялась.